

Василий КИЛЯКОВ

## ФАКТУРА И ШУКШИН

*Размышления над рассказами В.М. Шукшина.*

Посвящаю Сергею Павловичу Козубенко – русскому меценату и попечителю, радетелю русской словесности и творческого наследия Василия Шукшина

Сегодня говорят ещё о постмодернизме, не замечая того, что само это явление умерло, а где не умерло и подпитывается искусственно, то отходит все дальше, даже не на второй, а уже и на третий, четвертый план. Постмодернизм, взявший начало от «диониссийской» догадки Ницше и ницшеанствующих (Камю, продлившийся в Борхесе и «Уллисе» Дж. Джойса «потоками сознания» и дальше – в Кафке)... имеет суть отрицание Бога. Постмодернизм, по своей сути, есть крамола на мир Божий и человека как подобие Бога. Он – «хуже афеизма», по слову Пушкина, – т.е. атеизма (и тем одним даже хуже, что в каждой поделке постмодерна сокрыт обман читателя и обман намеренный). Диалог игровой и подмена неминуема оттого, что опора этих *поделок*, основа – не сама жизнь, а книги, когда-то и кем-то написанные. Читать «постмодер-нового» автора – всё равно что есть блюдо, бывшее уже однажды в употреблении. Он, «постмодернизм», смотрит не на мир во всей его полноте и целостности, но на деталь. Причём на деталь, намеренно неудобную или вымышленную, придуманную кем-то, когда-то. Причём не брезгует ничем: ни подтасовкой-соединением времен и событий, а также склонен к одномоментной перемене мест. К примеру: доисторический Египет вдруг принимает среди своих пирамид... командира Красной Армии, и прочее, и прочее...

На двор, залитый солнцем, смотрит модернист, но видит не голубое бездонное небо, а выщербину в подоконнике или трещину на стекле окна – не дальше собственного носа. Из этих пустяковин и выщербин он развивает «поток сознания», а то и пытается выстроить мировые догадки или, напротив, суживает очевидные, ясные проблемы до простой телесности. Упоение этой телесностью составляет суть «новаторства» постмодерниста, и если при этом «красавица» принимает крещение, то она отходит от страсти и начинает «дурно пахнуть»... Таким образом, в сегодняшней литературе, во многом, прошла и закончилась попытка «андеграунда», «маньеристов», «куртуазных маньеристов», «постмодернистов» и проч., и проч. – всех тех, которые не стыдились своего подражательства и которые не только не стыдились, а даже и за честь

почитали пустить и матерком, – чего не сделаешь ради разрушения (часто – под заказ) установленных правил и традиций, или ради того, чтобы заметили: «распро-сука» Слава требует жертв, как языческий божок или идол. Но такая слава не вселяет надежд, она не правдива и не эстетична. Дождевые черви после ливня тоже охотно весьма выползают на мокрый асфальт. Но они не имеют возможности предугадать, чем это для них закончится. Человеку дана возможность предвидеть свою судьбу на Божиих путях. И вот, пожалуй, в том и состоит главная причина, почему «постмодернизм» на русской почве не прижился (хоть его и прививали – хвалебными статьями, гонорарами, тиражами и грантами), но некое фокусничество – «от идеи» – повторяю, запашок мертвечинки и явно уже побитого опарышем явления.

Сергей Есенин писал в письмах из-за Атлантического океана, что здесь нет людей, есть черви. Здесь невозможна подлинная поэзия, «ибо черви мыслить не могут». И далее слова, за суть изложения которых ручаюсь: он пишет, что ему милее русская лошаденка в поле, мотающая хвостом по ветру, чем сто тысяч чикагских улиц, в которых можно загонять только свиней, «на то там, вероятно, и лучшая бойня в мире». Единственное, на первый взгляд, явное влияние (и позорное) ушедшего постмодерна то, что в русской литературе он нарушил временно корневую преемственность, последовательность передачи опыта и чистого русского слова от поколения к поколению. Теперь очевидно и то, что «клиповое» мышление или «игровое» восприятие мира, совмещение времен, переворачивание фактов, извращение традиционных ценностей – всё это надо выводить на верную дорогу. Мутный пахучий ручей должен иссякнуть и раствориться в широкой реке – *Волге* русского языка и русского мышления. Хорошо бы еще судить и привлекать по статье неких успевших заработать на такого рода «литературе» «художников», в том числе и сценаристов, и режиссёров (точнее – тех, кто выдаёт себя за таковых, не имея по сути отношения к русскому театру) – за разложение нравов. Издававших словари с матерной бранью и уголовной «феней» – посадить в камеру к «Пуси-Райет» или хотя бы рядом. Ведь вот посидели девушки в СИЗО – и стали извиняться, одна за другой. Значит, помогает неширокая камера умерить аппетиты, но, ... – как говорил Шукшин в своих рассказах: «но – к делу».

Итак, рука читателя, изрядно пожившего, изучавшего историю, литературу, а еще того лучше – и старославянский, и древнерусский языки, – рука такого читателя среди корешков многих и многих рыночных или библиотечных книг выберет, конечно, близкого себе писателя. Писателя-почвенника. Я все чаще снимаю с полки и перечитываю Василия Макаровича Шукшина.

Меня убеждают, и вполне серьезно, что компьютер, тот компьютер, что выигрывал партии у шахматиста Карпова, если переставить программу, начнет вышвыривать готовые книги, сотнями и тысячами, наподобие тех, коими завалены сегодня все прилавки. Вводишь лексикон уличной девки (благо типажей – не сосчитать), нажимаешь кнопку, и – «они как дохлые мухи «оттуда, из компьютера, сыплются» (говорил мне знакомый библиотекарь из Подмосковья). Сегодняшний читатель, за редким исключением, не признает, отказывается признавать «школу

языка». Её так и называли некогда с давних времён: «школой» – от той «деревенской прозы», вернее – от честной прозы о людях и о земле.

Творящих и работающих на земле-матушке много. «Почвенная» проза и поэзия – верна, преданна, как добрая старая мать. Существует, вернее, существовала она изначально. Даже Дмитрий Сергеевич Лихачев, изучая ее, любовался ее чистыми истоками.

В 1990-х пошло такое поветрие, что надо изучить все стили, особенно те, что числятся как «стили заумного толка», «навороченные»; овладеть ими – и таким образом выработать свою технику письма. И вот, будто бы, путь к известности, к читателю и к славе – он откроется тогда мистически, сам собой. И примеры многие ведают: от Ю. Кима с его «Вкусом тёрна на рассвете» до Фандорина, совсем уж неудобоваримого с его языковыми подделками ваятеля, до всё того же пресловутого с птичьей сорочьей фамилией мастера словесных монтажей...

И всё же, как ни дуйся лягушка, бегемотом не станет она. Бабочки-подёнки живут одну ночь или один день. И всё. К тому же, кто пытается влезть в окно, а не входит в овчарню через дверь, тот – вор и разбойник, как сказано в Писании. Даже крестословицу Андрея Вознесенского – и ту уже забыли. Забыли и «...на Васильевский остров я приду умирать»: громко, но оказалось – ложь. И забыли, а ведь автор сих громких словес – *не пришёл*... Ну, а если ложный крест, то и венец – ложный. Реализм Пушкина и Гоголя жив, потому что правдив и светел.

«Печально я гляжу на наше поколенье!» – сказано великим поэтом. Но все то, что печалило его, повторяется и сегодня, причем с особенным поворотом, словно с усиленным «гидроулём». Этот поворот руля так крут и резок, что механистической силой своей на всей скорости поворота современности заставляет нас прикрыть глаза и поверить, что уже последние дни доживает «иная школа», корни её – не в представлении, а в традиции: оттого и не читают. Некогда (будто бы) читать, надо спешить, рулить рулем с усилителем, успевать всё, накапливать, в том числе и сущую белиберду – а культуру повышать современным способом: на биеннале, в Сахаровском центре или Винзаводе, «центре Гоголя»... Вот уж где спектр!

Влияние чистого русского слова на душу огромно, даже сегодня, в век «зрителей», «рулителей», а вовсе не читателей. Для того чтобы читать, нужно хотя бы уметь держать внимание. Смотреть фильмы, диски, клипы – гораздо проще. И вот изобретено «3-D», на подходе «4-D»... Тоже изделия, осколки постмодерна, но только – в образе, в кино, этикие «матрицы», рассчитанные на эффектную прямолинейность. Но ведь и «Матрица» – кино, так прельстившее многих, – было написано сценаристом, от руки, и очень похоже, что «идейно» списано с изысканий и додумок русского философа Федорова Н.Ф., с его «космизмом».

И все-таки необходимым кажется разговор о том, чего не даст и не может дать никакой, даже самый мастеровитый клип, никакой эффект голографии или 3-D (голографическим называют физический и химический состав, сохраняющий целое рисунка в любом случае, на сколько бы частей его ни делили). Итак, никакой эффект не даст ни при каких условиях, сколько бы денег ни заплатили и в какой бы новейший

кинотеатр ни завернули, какого бы тисненого переплета, хоть золотом, диск «DVD» или книгу ни выбрали, – не даст он того наслаждения, которое дает слово. Важен не антураж, пусть и самый удивительный, – важна суть или, как её еще называют, «внутренний мир». Фильм ли, холст, книга, скульптура или поэзия – знания не должны быть накапливаемы только лишь разумом, как копилкой, важно всегда в искусстве, как нигде, *целомудрие*. Разум должен быть возжжён сердцем, вот и весь секрет подлинного, предметного видения. Никакой калейдоскоп никакого тысячелетия не смог бы дать того «прогресса», который дал человек-Слово. Богочеловек по причине Его горения, сердечности. Вот почему язык сказки и притчи, которые человек слушал с колыбели, младенцем, тот язык, с которым возрастал, никаких фокусов не предполагает, а предполагает чувство, со-чувствие. «Упало яичко и разбилось...» – и кажется, всё просто. Прост «Пророк» и «Анчар», «Памятник», пусть и переложенный Державиным или Пушкиным; но поменяй в этой поэзии «архаизмы» – те, что *от сердца*, и гениальные творения на века увянут мгновенно. Отчего? Да попросту оттого, что корни глубоки. Они – в недрах народного мышлечувствования. Так глубоки, что отсечение любого из них невозможно, как в лексическом строе, так и в нравственном, и в эстетическом. Отруби, искази модерном – и вырастет гибрид, «не то сын, не то дочь» – а подлинно, «неведома зверушка». Или – измени, рискни, высокий церковно-славянский языковой строй в исповедальной речи святых отцов на уличный, заурядный – и вот уже не будет той глубины даже и в поразительной чистоты и силы покаянном каноне Ефрема Сирина, высоким стилем, языком написанном...

А Василий Макарович Шукшин – это и есть Школа. Школа с большой буквы. И никакими усилиями *русскоязычных* не погасить величия этой Школы: чтобы принадлежать к ней, нужно иметь достоинство. Для чего же с непонятным упорством, достойным лучшего применения, сокращают в школах часы русского языка и литературы?.. И начинает вериться, что и в Дагестане по «ЕГЭ» набирают при сдаче экзамена в два раза больше баллов, чем в Москве и Петербурге... Хочется спросить по-милюковски: что это, глупость или измена? Но сегодня не ноябрь 1916-го года... Православной вере наших отцов и дедов отказано даже в виде факультативного курса. «Светская культура» или «История религий» – пожалуйста. Родителей вызывают для подписи «листа согласия», выбор невелик: «Светская культура», «История религий» и «Православие». Когда я попросил обучать моих детей в школе Вере Православной (которая тоже была в списке), мне ответили: желающих этого «факультатива» настолько мало, что «мы бы не советовали... один-два ученика». Какая странная *демократия*! Но разве можно понять нашу литературу: Чехова, который выстроил церковь в Мелихово и сестры которого пели на клиросе, Аксакова, Тургенева и Шукшина – без укорененной в сердце веры? Не секрет: даже те, кого признали «гуманистами», по глубинной сути, на деле, а не по форме в России (писатели и, тем более, философы), – православные, славянофилы. Или тайна и сегодня, что философия и литература – русская классическая литература Серебряного ли (отчасти), Золотого века – две служанки именно Вере Православной?

Я возвращался домой, вспоминая предостережения Астафьева, Курбатова, Шукшина... И даже остановился от воспоминания шукшинского имени! Легко представить себе, как отнесся бы к такой «демократии» Василий Макарович... Вся литература о современной деревне – и Шукшин, Василий Белов, и Валентин Распутин в этом ряду едва ли не первые – честная, бескомпромиссная. Кроме того, она ярче, самобытнее, «кондоее», чем городская. Это тотчас, с первых слов любого рассказа этих авторов бросается в глаза, добирается до сердца. Характеры живее, разнообразнее у нынешней «новой прозы»? Конечно же, нет. Вот замечательные писатели, взять любого: Ф. Абрамов, В. Личутин, В. Распутин, П. Краснов... – авторы жили в селе, знают не только быт, но и всю подноготную не понаслышке (второй план своих сюжетов они пострадали) – и знают так, как это могут знать только в деревне.

...Я сегодня живу в городе – и что я знаю о людях, даже в том подъезде, в котором живу? А в соседних домах?.. Могу сказать только нечто общее, то, что знают многие, если не все. И это при том, что «второй» моей натурой стала наблюдательность, которая мучает и одновременно – отрадна. Чаще – невольная, незаметная для себя, – пристальная наблюдательность, которую часто находишь именно у Шукшина, Бунина, Чехова и которая роднит с ними и сближает со всей русской литературой.

...Время нынешнее – смутное и ненастное – будто предсказано всем творчеством В.М. Шукшина. Он чужд «модерну», прям и (на первый взгляд) прост. Второй план его прозы так и остался невидим, видят лишь эксцентрику. Молодёжь нынешняя и вовсе видит нечто саркастическое или забавное... Вчитаемся глубже в его рассказы, попробуем проследить, понять, что говорит он всем нам, читателям своим, о чём напоминает неким тайным, скрытым – именно скрытой, теневой стороной многих рассказов.

Шукшин задолго до своего ухода предчувствовал, что в недалёком будущем люди станут холодны, «теплохладны», неинтересны друг другу. «Постмодерновый» нелепый взгляд на действительность словно предвидел он иные, новые времена, сказка «До третьих петухов» – вся об этом. Неинтересно станет читать, неинтересно слушать – по Евангельскому Слову: «...и охладет Любовь...» Неинтересно жить – не только оттого, что скучно станут писать, как он предвидел, и о незначительном, о маловажном к тому же – а ещё и многое перевернётся с ног на голову. Сегодня мы видим «придумки», намеренный уход от действительности, замену насущного таким обилием «фэнтэзи», индифферентной беллетристики. Мутит от навязчивого присутствия в нашей «либерратуре» легковесных, причудливых и нелепых пересмешников, каких-то «попаданцев» (во всех веках и временах потешно заблудших)... И всё-то постмодерн идёт сплошной, часто скучнейшей полосой, и оттого, что навязчив и беспринципен, списан с западных опусов – он ещё более ничтожен и малозначителен. Часто – дико, даже дичайше, без меры – прихотлив и причудлив. Где же сегодня сама литература, предметная, промыслительная, почему она не в чести, – ведь именно такой, «той», подлинной литературой: Достоевским, Толстыми, Шолоховым... и В.М. Шукшиным – ими и славна Россия? Как и когда случилась подмена?

Если детектив, то он почему-то – «иронический». Но может ли быть «детектив» «ироничным», не кураж ли и здесь вместо выбора в ту или в другую сторону: или игра, или навык дурить читателя, не смысловая ли подмена в самом даже корне – понятия? Оксюморон: «иронический... детектив» неприятен даже на слух... А если учесть непредставимую даже степень вторичности и плоской наивности нынешнего «вампиризма», идущего от давней (опять-таки западной) традиции романтизма, который и не скрывает своего богоборчества, не вред ли душе такая забава? Или такое сплошь неудобоваримое «фэнтэзи», которое просто за гранью нелепицы, и – за полслова, за ползамысла даже его никто не может поручиться, то есть – глухая непроницаемая чепуха... Но вот выходят и активно предлагаются читателю тома-кирпичи этих самых «фэнтэзи», и их раскупают, потому что они *навязываются*. Зачем? Премии же за «Большую книгу» сегодня в основном раздают за измышления или забавные «исследования» биографий, а вовсе не за собственно литературу. Быков о Пастернаке, Варламов о Горьком, или от Басинского «Лев Толстой: «Бегство из Рая», о Ленине Лев Данилкин... Премии-то на *демократическом* берегу ёмкие, и были с лютых 90-х, и есть, а где же литература? Неинтересен стал литератору человек, не о ком, не о чем стало писать? Но настоящим большим писателям всегда был интересен именно современник. А живая проза и сегодня дышит, она (наперекор всем запрудам) есть! Жаль только, что живёт она теперь все больше в глубинке России, и это несомненно – а вот кто её оттуда выведет, кто представит её читателю? Критика сегодня задушена, превратилась в заказную ругань и восхваления, литпроцесс заменили голословной блогерской помойкой. Сколько просуществует эта подлая подмена, что вот будто бы «Петровы в гриппе...» или «Русская канарейка» (почему не палестинская, непонятно) и есть самое нужное, значительное, ибо объявлена эта мишура в мешанине ни много ни мало «национальным бестселлером»?!

Так что же: человек, и впрямь, скучен, не нужен – ни «маленький человек», ни большие подвиги народа – не интересны теперь им, обильными грантами отмеченным писателям, не единожды приглашённым «на разговор» к президентам, а только одно и то же: «подвалы НКВД», которые в зубах навязли, от которых скулы ломит, – только это? Или игнорирование подлинного, природного, духовно здорового, сострадательного – от сплошной бесталанности? Или и то, и другое вместе? Да и пришлые всё это люди, душой не русские, являющие нам свою «самодостаточность», рассчитанную на пиар и на аплодисменты прежде всего «своих», своей «тусовки». Им, будто бы «независимым», категорически не «почвенникам», «перевирающим и передирающим» русский язык, саму его суть, нелепо и намеренно, – что им с того «человека»-современника, о котором столько и – талантливо – написано, что им с того «народного подвига»? «Перекасти-поле», что оно знает о корнях даже и своих, ценит ли оно эти отпавшие за ненужностью корни? Им любая пустыня хороша. Оно, это причудливое растение, «прыгает, как мяч», по слову А. Фета, где-нибудь – да и прибьётся... И премий сорвёт от своих, от лобби. И чем дальше прибьётся, тем гуще, тем наглей.

Но Россия – сама «корневая система» и есть. Россия – симбиоз наций и культур, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга, не нужно суживать пространство (хотя бы культурное) намеренно. Даже краски на палитре не кладут кое-как, наобум Лазаря, а тем более – на холсте многонационального государства. Русская (в противовес русскоязычной) литература всегда была делом совести. Вспомним раскаяние шукшинского Егора (Горе) в «Калине красной»: покаяние его – белая церковь на втором плане... Церковь – утонувшая, заброшенная – и при выходе его, освобождении от уз-кутузки... Да и последние кадры, просьба его: «Воды...» Не крещение ли подразумевалось, а с ним – и отпущение умирающему его грехов? (По вере и в уповании – изменить жизнь и измениться – эта исповедь Егора после встречи с матерью именно у стен белоснежного храма). И не это ли тот – «второй план» всего творчества Василия Макаровича, о котором умалчивают, который замалчивают?..

Перечитывая В.М. Шукшина и измеряя прошлое как бы его горьким взглядом и его творческим и личностным «аршином» и сегодняшнее время, ясно видишь, что требования к языку нынешних авторов до смешного невысоки. Книги – пустые, огромные фолианты – по тысяче рублей штука, а прочитать нечего. Ну, а как же не ставить такие ценники, ведь нынешние новые-новоявленные «великие» их лично подписали!.. «Срезали» они классиков одним тем уже, что подписанные книги их с лотков продают, и тем потеснили они «соцреалистов» – так им, бедолагам, и надо... Спрос же на подписанное есть.

Между тем в корне неверно, будто бы спрос и только спрос определяет предложение, что раскупаемость и есть мера всех вещей. И объяснение простое на примере: вот Америка страдает тотальным ожирением и иными страшными болезнями от пользующегося спросом фаст-фуда, попкорна, к которым так привыкла. Кто формирует этот «вкус» и «спрос»? Кто приучил янки к фастфуду, мусорной пище? Кто посадил толпу на «бургеры» и кока-колу? С какой целью? То же и в литературе: вовсе не критерий этот самый пресловутый «спрос» и в сфере книжной, издательской в том числе; предложение вовсе не определяет спрос, не формирует читателя, не «культивирует» его взгляды, его пристрастия и воззрения, а навязывает, приучает, растлеивает. Литература – вовсе не та, что декларируется, как например, подписанная авторами «остромовых», козыряющих «интеллектом». «Нахватанность прозрений не сулит», – мудро заметил однажды по подобному поводу М.П. Лобанов. Последовательные инициативы по внедрению в массы таких «бестселлеров» от мнимых «интеллектуалов» продуманны и вовсе не бескорыстны. А ведь и то: зачем допускать коренную предметную прозу, оставлять «русскому индейцу» свой собственный язык, зачем ему, аборигену, великая, на традициях основанная его литература? Он-де и не заменит подмену. Прямо-таки «Ноль-ноль целых» Шукшина, вживе! И когда я перечитываю шукшинские рассказы, повести, сценарии, каким же далёким и одновременно близким предстаёт он мне – старший товарищ по годам, по чувству, по совести, по умению видеть и сострадать, именно современнику! До сердцебиения. Зачем же нам предлагают (а иные уже и осуществляют, настырно подталкивают) к походу совсем в другую

сторону – противоположную той, куда стремился всей жизнью и всем своим талантом Василий Макарович Шукшин? Нам по дороге с ним.

...И какая «экспрессия», какая живость описаний. Если есть у Василия Макаровича в его прозе «картинка», то она – всегда яркая, играющая, и всё в действии. Роса, луна, солнечный закат в шукшинских текстах – они тоже оригинальны по чувству и языку, а главное – и это особенно присуще таланту писателя – по настроению. Оригинальность, разумеется, но и мера таланта тоже: всё хорошо в меру, по пословице «Душа меру знает». Много я встречал подделок под оригинальность, но подделок всегда плохих: повестей, даже романов. Как метко сказано у Ю. Кузнецова, «Я один, остальные – обман и подделка». Это – об эпигонах, что шли толпой вослед и Шукшину, но где они теперь, кто их помнит? Напоминать фамилии не стану; столько их – все заблудились, а он остался и останется. Его рассказы можно разделить на две группы: городские и деревенские. Деревенские (кажется) понятней и ближе. В деревенских – два типа людей: те, что смогли уехать в город, и те, что не смогли (деление это, конечно, весьма условно). Но всех их, этих городских и уехавших, роднит одно: у них болит душа. И за них, за персонажей – и у читателя тоже – болит душа, не может не болеть. Скажут: сколько их написано, таких рассказов о «простых душах», начиная с француза Гюстава Флобера, повесть которого, предварившая «Госпожу Бовари», так и называется: «Простая душа». Ан нет, нужно было почувствовать, открыть миру именно эту боль, русскую – национальную черту, которой томился Шукшин, именно эти переживания осмыслить. И здесь автор тоже ни на кого не похож, и здесь он – опять-таки первый.

...Бестужев-Марлинский впервые ввёл в обиход само слово «рассказ», поместил его в подзаголовки. Пушкин назвал «Занимательными рассказами» повесть Н.Ф. Павлова.

В истории русской литературы – как только не изображали крестьян: были «богоносцы», «совестливые» – Глеб и Николай Успенские описали их... Были мужички-подлиповцы, мужички-странники – и у Н. Слепцова, и у И. Тургенева – те, что «могут и Бога сожрать, дай им только волю», – по словам классика... Был Писарев, утонувший молодым, двадцати восьми лет, – но, несомненно, заметный своей «боевитостью», стремлением всё пустить вразнос и гипнотически повлиявший даже на М. Горького.

До Горького мужику-крестьянину всё же сочувствовали, мужика любили. Мужику «мозоль в пятку, точно ладанку, вставляли, – упрекал Сергей Есенин в своих размышлениях в письмах, – и любовались ею»... После Писарева, этого «литературного крестного» Горького (Максима Пешкова), о мужике стали писать так, что впору стало ненавидеть, презирать мужика. Словно бы мстили – иные притворно, просто потому, что так стало модно, иные по ненависти. И вот уже читаем, как «бомж» – босяк Челкаш, по Горькому, мог украсть мануфактуру – и, с широкого плеча, снизойдя к бесхарактерному крестьянскому парню – подарить, отдать безвозмездно тому всё добытое им, босяком-Челкашом. Горький не знал крестьян. Бродяги и пьяницы у него раскрашены странными яркими, почти флуоресцентными цветами, с пятнами и блёстками,



с некоей претензией на исключительность... Прославление волюнтаризма, неприкрытое нищестанство сквозит и в горьковском романе «Мать» – романе крайне слабым в художественном отношении, но, по Ленину, «своевременном»...

Были и другие, «развенчивавшие» мужика-крестьянина, из тех, которые торопились разбить «становой хребет» России (как в 1990-е очень верно скажет Б. Можаяев). Писали в основном о тех, кого не знали, и Петров – «Скиталец», по-первобытному бродивший с Горьким и с гусями вдоль Волги, и Л. Андреев. И это видно тотчас по опубликованным им рассказам: «Челкаш», «Море смеялось»... Потом этих самых «челкашей» Иван Бунин выведет в своих дневниках, в «Окаянных днях». Он при первой же встрече назвал Горького «некто в помятой шляпе» – но и он (даже Бунин!..) не представлял, не предполагал, какие настроения созрели уже тогда, в 1905-м!..

И это отношение – безгловое, от сарказма и гордыни города за-разившее литературу ещё тогда, от той давней поры до нынешней, и то настроение – перенято и подражательно используется, и сегодня особенно интенсивно (быть может, и проплачено тоже грантами да стипендиями...). Ибо корни держат, питают, укрепляют в почве. Бескорневой «демократизм» либералов – космополитичен в плане: «где спать лёг, там и родина». Знаем, помним: было в девяностые и такое, кто выпишет крестьянина скотиной, да не раз, и не два, а хорошенько опозорит (весь Пьецух, Войнович и прочие на гешефт себе делали) – они и им подобные получали годовые стипендии от «своего» СРП. Что ни книга о деревне – то зарубили топором предпринимателя или на вилы под-няли, изнасиловали или сожгли... Почвенники переживали этакую «подачу» материала по-своему, по-особому, болезненно, в том числе и автор этих строк. Вот как писал мне Валентин Яковлевич Курбатов 20 июля 1999 года об этой «Руси уходящей», о деревенской прозе, тоже, по-видимому, скорбя всем существом: «Дорогой Василий! Я прочитал Ваши рассказы /деревенские. – В.К./ и вполне понимаю Ваше смятение. Так подметают двор, когда уже всё убрано. Это уже собирание остатков, завтра на этой «территории» будет чисто. Как-то В.Г. Распутин очень точно сказал мне: «Я ведь всё время вынужден в своё тесто дрожжец подбрасывать, чтоб всходило. А у Виктора Петровича (Астафьева) оно само из квашни прёт, и ему всё уминать приходится, чтобы через край не валило. Правда, это уж давно сказалось. Теперь и Виктору Петровичу приходится дрожжей прищипывать. Сегодня всем деревенщикам так. Деревня уходит стремительно, вытесняется «хожалыми» /персонаж моего городского рассказа, приехавший из деревни, «вписавшийся» в город. – В.К./, а новые родиться не торопятся. Как и вообще русский человек сегодня. Простор сегодня «интеллектуалам», записным книжкам да мещанам, а здоровому прозаику с чувством живого – труднее всех...» («Мещане» нынешние из грязи в князи угодили совсем неожиданно, но просторно им было всегда).

А писать правду, действительно, труднее всех. И не потому, что напечатай правдивую книгу в «АСТ» или «ЭКСМО», – не станут читать, а потому что разрекламированы совсем иные «писарчуки»; «запущен»

в оборот – и давно работает – совсем сторонний, не русский механизм, другие имена на слуху, раскрученные (балалайки во всей прелести её – за орущим рокером или «диджеем» не услышишь, как бы прекрасно она ни звенела). Потоки эти «подводные» не раз описаны тем же Олегом Павловым и, отчасти, но очень осторожно, с оглядкой – Вячеславом Огрызко. Возьмём шорт-лист премий: это всё те же «премианты» и «стипендиаты», о которых я упоминал выше; они, подражая, выстроились дружно за «писателями» Коэльо, за С. Кингом, год от года одни и те же имена... Фамилии – нерусские, похожие на шуточные, выдуман-ные или на клички.

Мне могут возразить, мол, в советской прозе «развитого соцреализма» тоже наговорили много лишнего, написали о горемыках-жуликах, о страдальцах и «босьяках» нового типа. А вот у Шукшина – то, да не то, и «болит душа»... А почему болит – ни один мудрец так и не дал ответа. И сам автор не сказал. Но есть прорывы, подлинные открытия, и они – в покаянии героев у автора. Покаяние же по вере православной – одно из главных условий спасения души, следом только смирение и послушание. Читаешь – и чувствуешь, как у него самого, у писателя, у Мужика-Крестьянина с большой буквы – болела душа. А иначе зачем бы ему и говорить такую фразу: «Что с нами происходит?..» Фраза эта так проста, так часто повторяема была (особенно во времена «перестроек»), что всякий пройдоха норовил ею воспользоваться. И тем очевидней только обострялась проблема человека. «Что с нами происходит?» – повторяли многие всуе; а в душах своих так и не разобрались, даже оставили, бросили эти попытки – «разобраться».

Так что же с нами происходит? С душами людей нераскаянных, завистливых. Почему тех воров, что по мелочам тасили, тогда, в 1980-х, называли «несунами», а крупных воров сегодня «олигархами» величают? Латифундии прикуплены ими и огорожены – с охраной, не подойдёшь. Или мы вернулись в Средние века, вспять потащились? Прелюбодеяние, блуд называют нынче «гражданским браком»; «прибыль» – профицитом (подразумеваемую здесь с обманом прибыль – «маржой»)... И так во всём. Ничего не изменилось с тех, восьмидесятых, – разве что усугубилось. «Вот она и болит, душа-то, что она, пряник, что ли?» – говорит один из героев рассказа Шукшина супруге. И что же он получает в ответ: «Пузырь... Душа у него болит...», и т.д.

Шукшин с пристрастием и зоркостью увидел наши сегодняшние проблемы – заранее, на расстоянии сорока-пятидесяти лет. В его рассказах много персонажей, ушедших в города, но до города так и не дошедших. Они, эти будто бы простые, на первый взгляд, ущербные натуры, даже «с чудинкой» (один рассказ так и называется: «Чудик»), – ушли «простые» «чудаки» в города, устроились там: кто в бараках с клопами и общими коридорами да туалетами, а кто и того хуже. Жили с драками, с плясками под гармонь, с заёмом «тройка» до получки – но по сути своей так и остались деревенскими, а значит – с душой. Были и другие – те, что заимели квартиры, «отдельные секции», выучили детей в университетах, накупили столько вещей, что страшно показать посторонним (недолго и погореть), ибо ведь не все же «эти, с юридическим

образованием – сопляки», которых шукшинский персонаж Николай Гаврилович обводил вокруг пальца (рассказ «Выбираю деревню на жительство»), – да, были и другие. И жили, и воровали, и квартиры правдами и неправдами приобретали – не для себя же, для детей. И на глазах детей. И по-своему обосновывали им, детям, такие свои устои жизни. А те уроки в свою очередь усвоили. Нацеленность на «отдельные секции», ещё лучше – на квартиру, да чтобы жить да копейку зашибить – это вам не «челкаши», тут смотри дальше, шире смотри, выше бери. Корысть – она воспитывалась, перековывала (и перековала) деревенских, пережавших в города, в трёх поколениях. Шукшин заметил и написал, как менялись сами: цель жизни, смысл существования. Несколько сборников его рассказов (на мой взгляд) стоят всей эпопеи «Ругон-Маккары» Эмиля Золя и «Утраченных иллюзий» Бальзака вместе взятых, потому что по-русски поведаны, а потому и понятней нам, ближе. И великие истины, которые говорят через слезу, произнесены Василием Макаровичем с горьким юмором.

...Мир кухонь, складов и продмагов – не книжный мир, а самый «настоящий»... Но тем, первым, которые уходили из деревень в города, – им тоже надо было как-то обосновываться. И тут-то герои, подобные Николаю Гавриловичу Кузовникову из названного рассказа, – с виду те же «чудики», прищемлённые, ущербные (те же, да не те!..) – давали сто очков вперёд коренным городским жителям. Сегодня читаешь эту прозу – и думаешь, что, не торопись Шукшин с публикациями тогда, сорок лет назад, дотяни он, докопайся до сокровенного тех «чудиков»-героев – то дотянули бы они до незабываемых характеров, до прозрений, и многое было бы понятней и в наш сегодняшний день... Кое-что они, эти недописанные «типы» Шукшина, и впрямь объясняют нам сегодня в нашем «случайном» либеральном мире – многое, но не всё. А так, как написаны – эти кладовщики, бухгалтеры – они не до конца понятны и до сих пор: ни критикам из столиц, ни читателям из деревни. Если и читают о них сегодня, то не с удивлением, а узнавая этих типов в своих дедах, отцах и – для отдыха, с усмешкой, по-простому, с «зубоскальством». Сначала и я так читал.

«Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать её», – это одна из последних записей в книге Фёдора Абрамова, тоже почвенника, в «Траве-мураве». Следуя этому завету мудрого, много повидавшего на свете, травленного критиками архангельского писателя, порой и впрямь хочется «передумать» свои и чужие рассказы, сравнить свои строчки – со строками близких по духу писателей. И тогда – вот тогда! – какой же непростой кажется мне лёгкая, «на прилёг» или «присест», проза Шукшина!

Так «что же с нами происходит?» Или произошло уже, и последствия необратимы? По-разному можно объяснить этот сегодняшний безуспешный кризис-поиск смысла жизни. Кризис понимания долгожданных либеральных свобод – и их результатов. За этой свободой и рвались в большие города – в Москву, в Питер – из деревень: туда, где откроешь кран – и вода горячая! Точно по пророку Иеремии: «Отдам сокровища твои на разграбления... за грехи отцов ваших...» И кто же

станет отрицать, что жертвы не были принесены? И вот, вырвавшись (как нам вдалбливали «прогрессисты», лукавые «перестройщики») из восьмидесятилетнего плена вавилонского, народ тотчас попал под другой, едва ли не худший: «отдан на разграбление». Теперь уже – всё, без милости и без возврата. Но Шукшин – писатель «от земли», и он предупредил: его не услышали.

Творческому пути В.М. Шукшина именно публикации последних лет подводят черту. И теперь уже ясна та сокровенная мысль его, та настойчивость, с которой пробивал писатель и сценарист своего «Степана Разина». Монтаж коротких сцен ужасал даже издавших виды критиков и режиссёров: разрубание икон, плоты из трупов казаков... «Если изъять жестокость и кровь, то, учитывая происходящее, характер действующих лиц, ситуацию, мгновенный прорыв (что и случилось, видимо), нельзя решить эту тему. Её лучше и не решать, потому что тогда потеряем представление о цене свободы. Эту цену знает всё человечество. Русский народ знает, чем это явление оплачивается», – писал Шукшин в ответ на отрицательное решение о судьбе фильма на худсовете 16 февраля 1971 года. Похоже на роковое предупреждение: он будто бы знал, видел, чувствовал то, что назревало, что уже созрело... И совсем «не так просто», как это писалось и объяснялось «соцреализмом», – видел во всём близком ужасе и глубине. А соцреализм показывал по телевизору «Юркины рассветы» или твердил о преемственности сталеваров в городах Электростали и Магнитогорске. Уже тогда он, Шукшин, видел, что жизнь, действительность как бы распадалась на сиюминутные дела, на истину явную – и некую другую, скрытую, непонятную. И странно было (и тогда казалось странным!..): по советским меркам материально обеспеченные люди, не стесняясь в средствах, заимели не только «отдельные секции» в городах, а и в самой Москве – трёхкомнатные квартиры, с прислугой, выучили детей, сыновей (в том числе и собственным примером жизни) в вузах... А что-то от прибыли денежной у них ни счастья, ни радости, и какое-то странное чувство пустоты мешает им жить дальше. И хочется выговориться, чтобы хоть кто-нибудь в этом чужом и чуждом мире им сострадал, кивал бы головой, сочувствовал... Какой-то не материальный, а душевный, даже духовный, уже тогда назревший кризис... Он и лечиться мог только духовно. «Выговориться» значило: исповедоваться, разделить страдание, очистить душу. Но церкви нет – зато есть вместо церкви упорствующий «крепкий мужик», разваливший единственный храм двумя тракторами, есть «изящный чёрт», рвущийся мимо всех к алтарю (и прорвавшийся!..) вместе со всей силой бесовской (сказка «До третьих петухов»). И вот – изгнаны монахи из храма, но и этого мало. Изящный чёрт «изящно» же требует переписать и иконы в храме. Вот вам уже – и не храм, а сахаровский центр с выставкой «Осторожно, религия». Или я ошибаюсь?

И тут Шукшину нет равных, тут – целое открытие в литературе – эти циклы рассказов о страдающих нераскаянных душах (и в сказке, и в недописанном романе «Любавины»), которым и каются-то негде – только друг другу да самим себе. «Каются» они так: выпьют стакан водки без закуски и идут для беседы на вокзал (рассказ «Выбираю деревню на

жительность»), или прямо к «Николаю Угоднику» – тестю (рассказ «Билет на второй сеанс»), или – к старухе-сторожихе Марии... Или просто плачут у могилы («Случай на кладбище»), излагают грех свой и боль – кресту на могиле да земле под вечерним равнодушным небом и луной («Счастье ли, горе ли здесь, на земле – сияет»)...

Три очень похожих рассказа условно объединены мной в один цикл. О нём, об этом цикле, и поведу речь. Таких рассказов у Шукшина – не три и не четыре, их много. Более того, один сюжет рассказа как бы дополняется вторым и третьим (сборник «Беседы при ясной луне»). Сборник называется по наиболее яркому одноимённому рассказу. Вступление, зачин его – не броский, не «триллерский», естественный: тихое повествование, краткая предыстория. Зачин, очень характерный для автора: «Марья Селезнёва работала в детсадишке, но у неё нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась». И тут два абзаца не для главного персонажа: зачем писать, да ещё в зачине, вступлении, как попала в сторожа Марья? А не лучше ли начать прямо и броско: «И стала она сторожить сельмаг». Но и тут Шукшин идёт от правды, «от жизни» – или, вернее, «к правде жизни». «Нашли палочки», – и вот уже верится, что была и впрямь такая Марья, и всё, что с ней происходит впоследствии, тоже было. Подробность – великая сила, а у Шукшина особенно: она жизненна. Это не модерн, тем более – не постмодерн, пусть и западный, где, перегревшись на солнце, какой-нибудь француз-ницшеанец может пристрелить араба, просто от странно упавшей тени на глаза, «во всём виновато солнце!»... Итак, вернёмся к жизни Марьи: «И повадился к ней ночами ходить старик Баев». Главное: интерес читателя мгновенно перекидывается с Марьи на Баева, – метод, знакомый литературе.

Тип этот, Баев, узнаваемый – и всё же чисто шукшинский. Автор насмотрелся на них вдосталь, видел он этих «умников», натерпелся от них. Они не давали ему покоя, верно, пока не были им «выписаны» на бумагу. Мальчишкой, потеряв отца, он пошёл работать. Жил трудно, голодно, а эти – вот они: посиживают вокруг складов, тихие, сытые, незаметные в своих бухгалтериях и кладовых, «умники» – и сами при деле, и детишки устроены: «тепло, светло, и мухи не кусают». И тут кульминация начинает высвечиваться и играть внутренний характер – через внешнее.

Баеву очень хочется выговориться, рассказать, вот хотя бы и этой самой Марье при всей малой величине её для Баева: какой он умный, прозорливый, удачливый, а ведь никто до сих пор так и не заметил, не оценил его!.. Да теперь уже, пожалуй, и не заметит никогда. Сам он жил невидимкой, не спорил, на глаза не лез, «не залупался», как сказал автор про такого же – в другом своём рассказе.

Что же он делал, этот Баев? Тут следует послушать автора: «Баев всю свою жизнь проторчал в конторе: то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении – всё кидал и кидал эти кругляшки на счётах, – наверное, с целый дом накидал», – не без намёка шутит Шукшин (дом себе отстроил этак, кидая и откидывая в сторону для себя). А сколько честных работяг в жизни маялись, трудно жили «без угла», без

дома, по общежитиям да в примачах – хоть и работали, «пахали», уж верно, почище этого Баева. И где же правда?.. «Он любил спокойных мужиков», – пишет Шукшин об одном из своих героев, любил их – это тотчас видно – и сам автор, вот баевых не жаловал.

«Баевская» же обида на весь белый свет говорит о многом. А «протестская» исповедь Баева – и того больше. И если знать жизнь деревни того времени (от чего бросает в дрожь), то и вовсе о многом сокрытом расскажет, что за «фрукт» этот тихоня-бухгалтер. Бабушка моя по матери, Пелагея Тимофеевна, с двумя детьми на руках одна, как раз об это самое время баевского бухгалтерства, вдовствовала. Умирала с голоду – но вынуждена была сдавать молоко государству. Да и собеседница Баева Марья – и она знает тяжкий труд в колхозе не понаслышке, говорит прямо и просто: «Да оно бы и все-то так посиживали – в тепле да в почёте». – «Садись! – воскликнул с сердцем Баев. – Что ж ты тут вместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай».

И тут рассказ «Беседы при ясной луне» начинает (тьнь и свет пошукшински) распадаться как бы на два плана: Баеву, «тепло» прожившему жизнь, надо рассказать, какой он значительный – уже потому, что жить старался он всегда незаметно и – не зря повторяет автор – «не высывался». Людям свойственно говорить о себе. Почему бы вот и ему, Баеву, заимевшему (накидавшему этикие хоромы на счётах-круглешах) хороший дом, вырастившему двух дочерей, сына – и это в трудное-то, совсем голодное время – отчего ж ему и не погордиться? Вот он и ходит к Марье выговориться, благо есть – вот он, его, Баева, «состоявшегося» – пример неоспоримый. Да и читатели многие знают таких учителей по жизни. А Марья – слушает, даже кивает и поддакивает. И тогда Баев «раскручивает» себя сам (как теперь модно говорить, «пиарится»). В самом деле, когда всё уже позади, можно и «высунуться». Все его «умные» поступки, конторские дела говорят о том, как он заискивал перед начальством, как обманывал сельчан с одной-единственной целью: устроиться самому, устроить детей – это один план, рассчитанный, если не ошибаюсь, на известного рода читателей (свет?). Тут и все подробности: советовал начальству, как объегорить сельских жителей с госпоставками молока, занижая жирность и требуя поднять объём этого самого сдаваемого крестьянами для государства «млеко» в ущерб собственным детям. И кому, как не ему, Баеву, было не знать, что сдают жители его деревни последнее, порой отнимая у голодных ребятишек. Ясно, что от выполненных госпоставок хорошо было не только колхозному начальству, но и умному Баеву. Он учил Марью, как «надо от работы отталкиваться»; словом, среди умных умник, «он редкого ума человек». Никто даже из колхозного начальства до этого не додумался!..

В рассказе, по этому первому его плану, собрано, кажется, всё, чтобы читателя заинтересовать, задержать: и старые анекдоты про сбор пота идут в ход (пробирку под мышку – и накрыться матрацами), и «анализы», и упрощённое отношение к молодёжи: «дрыгать научились»... И, в конце концов, мелкая трусливая душонка отчётливо – вот она! – открылась. И – весь Баев перед нами, и уже недвусмысленно понятен. Спрятавшись за спину старухи (тьнь?) (как он и прожил, скрываясь за

бабьими, да вдовьими, да сиротскими спинами всю свою жизнь): «Стреляй! – тихо крикнул Баев Марье. – Стреляй! Через окно прямо!» А сам, мужик, в стороне: «Стреляй, Марья!» И ведь выстрели старуха по его подсказке в парня-алкоголика, пришедшего с похмелья и перепутавшего день с ночью, убей она или рань его – старуху засудили бы. Засудили бы её – а Баев, конечно, давал бы показания. И опять он наверху, ни при чём. Такой умник!.. И мог бы после процесса над старухой отряхнуться и сказать себе, повторить вновь, как и говорил не раз мысленно: «Молодец, и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили». Тут надо ещё и то понимать, как подбирает автор фамилии, неспроста или по случаю. Вот и «Баев» – от слова «баять», «заговаривать», забалтывать. Кот такой, «баюн»... Или – Неверов. В другом рассказе – Ненароков, Бронька Пупков, Сразов, или Сураз (от старого «суразный»), или вот – Ванька Тепляшин...

«Ночи стояли дивные», – пишет Шукшин, – как и всё дивно в этом мире Божьем, в его Промысле о нас, грешных, но мы-то каковы? «Мы – баевы...», «Эх, мы... Это в таком-то мире...» И этот укор отчётливо слышен читателю. И тут сама профессия актёра Шукшина озаряет строчки, играет в повествовании: всё видишь, как в кино: жесты, мимику, движение – и это тоже одна из редких особенностей его прозы. Хочется и смеяться, и не думать о главном. Но главное всё равно находит читателя, западает в душу, не даёт покоя – и долго потом прорастает, оживает, не отпускает: «Как же мы живём!..»

Смею утверждать, что именно для этого, для второго плана и написаны рассказы и сценарии Шукшина. Морализаторством, прямым показом и резонёрством «высоколобого» советского читателя, «физика и лирика» и тогда было не пронять. Но у Василия Макаровича почему-то увидели только «развлекуху», «чудиков» – главного не увидели. Или не хотели увидеть. Не уютно было тогда видеть – всё это «по существу», самую суть свою, – да и сегодня, по большей части – некому и незачем. Читают прозу, вообще любую, в наше время (по статистике) только четыре процента населения, а тогда читали – едва ли девять десятых. Михаил Шолохов сказал о нём, о Шукшине: «Он появился удивительно вовремя».

Какова же скрытая идея многих его рассказов – и разбираемых, и существующих, но не затронутых здесь в качестве примера? В них всегда есть нечто главное – по сути человеческого бытия, по смыслу человеческого существования. Василий Макарович Шукшин, его «лирический герой», как принято называть повествование «от автора» – он не «Баев», скорее «антибаев». Рассказать нам, повеселить или удивить своим талантом, знанием народа и народца, покрасоваться – словом, «просиять», как сиял, рассказывая, передавая свои подвиги Марье старик Баев – это не всё, не сама цель. Цель автора – не удивить (и тем подняться в наших глазах), а показать сокровенное – через внешнее... Но все ли видели, чувствовали «второй план», сокрытый – при жизни Шукшина? Обидно, что тогда его ценили до горечи мало, притом что писали о нём нередко (чаще – равнодушно, скучно или с укором и осуждением за «приземлённость», «мелкотемье», «поверхность»...)

Марья знала Баева и до этих бесед. И далее узнаём, что умного, хитрого ловкача Баева отчего-то мучила бессонница: «Последнее время, – читаем мы, – Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожике Марье – разговаривать». И вот тут «сверхзадача»: все эти «почему» поставлены едва ли не во всей прозе В.М. Шукшина.

Я выбрал три рассказа. Можно бы разобрать и другие: и «На кладбище», и «Страдания молодого Ваганова», и «Как помирал старик». Везде присутствует этот второй план, это «почему». Надо сказать, ни одна философия мира не разгадала причины той самой тревоги и бессонницы вроде бы беспричинных, этого вечного вопроса о муках уже при жизни, мытарствах мятущейся души человеческой. Сам автор находил этот религиозный вопрос в весьма заурядном – и тот же вопрос, о смысле жизни, нравственности, совести – терзал его даже накануне его собственной гибели (рассказ «Кляуза»). Немногие пытаются касаться «вопроса» больного, «решать» хотя бы по-своему, для себя эту головоломку особенно даже сегодня. Вместо этого, важнейшего: «постмодерн», развлекуха, «время убить чтивом». А ведь его, времени, и так немного.

В рассказе «Выбираю деревню на жительство» некто «Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил»... «Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче.

И он пошёл по складскому делу – стал кладовщиком, и всю жизнь кладовщиком был, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию». И тут тип уже знакомый, родственник Баеву, со схожим характером. Философия жизни его не идёт дальше обывательского мировоззрения: «ушёл из деревни и понял...» Канва первого плана в общих чертах уже ясна: воровал, «ни разу не поймали его, ни один из этих, с университетским значком». Тоже, как и Баев, устроился сам: квартира, дети живут отдельно, он – со старухой. Но рассказчик не был бы так талантлив и самобытен, если б не ставил исподволь всё тот же вечный вопрос (тени и света), разрешения которому нет ни у главного героя, ни у автора пока ещё – ни у кого. «Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить». И всё же пытался. Как же? А вот как: выпивал стаканчик – и ехал на вокзал. Почему именно на вокзал, и с кем он там разговаривал? С мужиками, как ему казалось, проще говорить, лучше поймут. Надо выговориться, выкинуть из сердца всё, что волнует. В конце концов, и узнать жизнь современной ему деревни: что изменилось? – мысленно сравнить её с той, прежней, которую помнил, цену которой знал на свой лад. Много надо было узнать хорошо пристроившемуся в городе кладовщику... а для того нужно было завязать живой разговор – всё об одном, всё о том же: кругом в городе хамство, воровство, ложь. Пива не доливают, и прочее.

И тут надо бы Николаю Григорьевичу переоценить все ценности и в себе самом: «Сам тоже ругался всю на шоферов, на грузчиков,



к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это всё как-то вдруг забылось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют». И вновь канва рассказа не сверкает – её надо разглядеть, увидеть. Пьющий в одиночку человек настораживает. Мы их редко видим. Не у всех у них, но у многих, чаще всего, есть некая боль и желание выговориться. У этих пьющих в одиночку, часто и благополучных внешне – внутренне всё не так уж хорошо: что-то происходит в душе человека, разлад какой-то, противоречие. «Никуда Николай Григорьевич не собирался уезжать». То, как он жил, живёт и будет жить дальше – ясно по прочтении рассказа. Ну, сходил и сходил к проезжавшим мужикам на вокзал, чего уж там, чего не бывает. Поговорил раз, другой, третий, потрепался в этом закуренном и заплёванном туалете – и будет уже!.. А он всё ходил и ходил, и это стало потребностью: «Он теперь не мог без этого». Тайна души... И здесь неясность: зачем?

Попытка выявить тайну души человеческой через его, человека, поступки (повторю ещё раз, отмечая важным) – вот второй план – суть многих замыслов Шукшина, своеобразие его таланта. Много ли сегодня таких находок, которые ставили бы вопросы?.. Задача писателя – ставить вопросы. Отвечать или не отвечать на них – каждый решает по-своему. Возможен ли сегодня Николай Григорьевич? Станет ли кто-нибудь бить себя в грудь, разговаривать с таким Николаем Григорьевичем? Нет! И не только в туалете, а и вообще где бы то ни было. Есть ли сегодня, остались ли такие вот разговорчивые мужики? Не знаю, весьма сомневаюсь. Время, то время – ушло безвозвратно, народ стал ещё жёстче, ещё недоверчивей, непримиримей, что ли. Хоть кажется порой, что вот – и церкви пооткрывали... Но не хватает церковей. И вопрос вопросов опять-таки: почему с ним, с Николаем Григорьевичем, нынче не станут говорить незнакомые люди, объяснять, сочувствовать и понимать?.. Не прошло и сорока лет со дня написания рассказа, а ведь тогда и говорили, и понимали.

...Рассказ «Билетик на второй сеанс» своим заглавием говорит о многом. Жизнь прожита не так, как хотелось бы главному герою рассказа, Тимофею Худякову. Ему «...опостылело всё на свете. Так бы вот встал на четвереньки и закричал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы». Как, знакомо?! Сколько сегодня тех, у которых «всё есть» – и не только «отдельные секции», а и яхты, и «БМВ», и «Инфинити»... – их тысячи, у них полный достаток. И не сравнить их по достатку с этим самым времён «развитого социализма» Худяковым – а жизни нет: «Пил со сторожем, у себя на складе...» Пил и изливал всю боль сторожу Ермолаю, жаловался – да так, как понял и смог сказать только Шукшин: «Судьба – сучка, – и дальше сложно: – Чтоб у ней голова не качалась... Чтоб сухари в сумке не мялись...» Этот эксклюзивный, как сказали бы сегодня, чисто авторский стиль Шукшина – неподражаем. И сегодня пьют с «излиянием души». Не только на складах, а – пьют и плачут. Даже и сильные мира сего. Даже на борту роскошной яхты, как говорят журналисты, – эти «сильные мира сего», взявшие много на себя, себе – пили и плакали порой, даже прыгали с борта неглиже, чтобы охладиться отвлечься «от причин души» – не помогло. Лучше, легче

не становится. Почему? И вот здесь – тайна. И Тимофеев таких немало. Удивляет не персонаж – он в общих чертах уже знаком. Монолог случился, а не диалог. Почему? А что глупому сторожу Ермолаю скажешь? Поймёт ли он, как накипело, как она, жизнь, внешне одарив – обидела! Беспощадно! Как она не состоялась! А могла бы состояться. Но в каком случае? Вот откуда начинаются догадки.

Дело, кажется, даже не в подлинности чувства, выраженного в забористом монологе – дело в средствах раскрытия характера, подлинно русского, мятущегося... А с чего ему беспокойно, невыносимо так – и сам не поймёт он, этот Худяков. Вот краешек-частица русской души – и где, в какой литературе какой страны найдёшь такое страдание без видимой причины? И тут Шукшин – продолжатель национальных традиций: в рассказах-открытиях характеров, судеб, со всеми их изъяснимо-ошибками. Оттого и получила такой резонанс его «Калина красная», этот «зов души», зов к со-чувствию, что отмечал в «той ещё, дореволюционной литературе» и Лев Толстой. Боль эта, повторяю, характерна, пожалуй, только для русского и понятна одному только русскому. Голос этот не заставляет, не обрекает – только будит, мучает и требует проснуться. Откуда эта тоска? «А что, Антоныч, – вдруг спросил весёлый Авдеев Панова, – бывает тебе когда скучно?» – «Какая же скука?» – неохотно отвечал Панов. – «А мне другой раз так скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». – «Вишь ты!.. – сказал Панов. – Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня, думаю: дай, пьян нарежусь». (Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»). Но дело не только и не столько в скуке, понятно.

У Шукшина сторож Ермолай притворялся, что не понимал кладовщика Худякова – но, верно, знал, думал про себя: «Совесьть тебя, дьявола, заела: хапал всю жизнь, воровал. И не попался ни разу, паразит!»

«Разлад, Ермоха... Полный разлад в душе. Сам не знаю отчего». – «Пройдёт». – «Не проходило».

И все эти разные «кающиеся» – ищут слушателя, совершают поступки непредсказуемые: таково их внутреннее состояние. Домой ему, кладовщику, идти не хочется, «там тоже тоска, ещё хуже: жена начнет нудить». Погода тоже под стать настроению. Автор даёт броские, яркие, краткие и оригинальные детали: «Несильно дул сырой ветер, морщил лужи. А небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным жёлтым огнём. Холодно, тоскливо. И как-то противно-ясно...» Всё ясно и читателю. Без обиняков, горько и ясно. Тимофей шёл и раздумывал. О чём? Всё о том же: «Вот – жил, подошёл к концу». «А Ермоха, – сравнивал Тимофей, – например, всю жизнь прожил валиком – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы». Ермолай завидует нищему по сравнению с ним. Странно? Завидует спокойствию, с которым тот прожил, возможности его, Ермолая, собой заниматься, своей душой, любимыми делами, не размениваться на... И пошёл он к Поле Тепляшиной, с которой «крутили» когда-то преступную любовь. Но там, как говорят, от ворот поворот. Поля даже удивилась: «Вона! Вот так гость. Зачем это?» И пить отказалась с ним она, давняя приятельница, и разговор получился нехороший: укоряли друг друга,

свара... Тимофей заключил: «Что ведь и обидно-то, дорогуша моя: кому дак всё в жизни – и образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая, с сахарными зубами. А Тимохе – ему с кривинкой сойдёт, с гнильцой...» Вот что он говорит в лицо ей, бывшей возлюбленной, – так жмёт и жжёт в груди его восставшая, мучающая душа. И откуда эта боль, не понять никак. А боль духовная, не душевная даже, а духовная. Как её руганью с людьми да водкой унять – нет, никак невозможно...

Всё это характерно для рассказов и вообще для творчества Шукшина. Читателю кажется, что эта боль его персонажей – от их ненасытности, от зависти, от многих неисполненных запросов и ожиданий, от жизни. Так нет, ясно и вот что: имей герой в сто, в тысячи раз больше, чем он имеет, – боль не ушла бы, даже возросла бы с удвоенной, утроенной силой. Вот сегодня гремят на курортах грандиозные попойки детей этих кладовщиков, плоть от плоти, и чиновников, бывших «партийных», их пляски нагишом на яхтах и даже крейсерах (на знаменитой «Авроре»)..  
И – новый кризис, и выкупы ими, детьми кладовщиков, знаменитых изделий Фаберже и икон («чёрных досок», как они называют иконы), а толку – пшик. Деньги сберегли, «вложили», а душа всё равно болит, требует чего-то иного, кроме скандала и славы денежной. Неясно, глухо болит – как вылечить?

И опять удивляешься, как понята, найдена, определена им, Шукшиным, эта боль, которая в наши дни, спустя полвека, уже начнёт так выворачивать, так чистить непокорные и неверные души, что им «и в церкви всё не так, всё не так, как надо». От этого, быть может, и взрываются метро и аэропорты – всё от той же несмолкающей боли души: «И охладает любовь...» И если б речь шла только о непонятном, не понятом, как «о крашеном яичке на Пасху»! А и любовь-то сама ему, Тимофею, представляется «убогой», «ублюдочной», словами автора. «По Сеньке и шапка», как говорят. Или ещё так: «Какой идёт, такая и встречается». Но он – и это тоже общее правило – ищет ответа только во внешнем, не в себе. Искать ответ на свои вопросы в себе самом – об этом нет и мысли.

В развязке рассказа характер раскрывается и вовсе в интересном ракурсе. С пьяных глаз Тимофей будто бы принял тестя за Николая Угодника: «Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок». «Угодник», как ему и положено всё знать – знает, и сразу «берёт быка за рога»: «С чего тоска-то?» – «Тоска-то? А Бог её знает! Не верим больше, вот и тоска».

Тимофей не сразу открывается «Угоднику», призраку, весь разговор идёт вокруг да около: «Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим... Вот она и тоска». Разговор с «Угодником» напоминает ссору с Полиной: «спаскудился народ», «пьют, воруют»... «Я и то приворовываю на складе», «родиться бы мне ишо разок! А?»

Как же видит Тимофей своё второе рождение и «второй сеанс»? До самого «превращения» Николая Угодника в тестя идёт перечисление всех желаний Тимофея, вперемежку с жалобами: «любовь, что чирей на одном месте», «мне бы в начальстве походить». И тут – после осуждения общей жизни и мнимого сокрушения о закрытии церквей – ни капли покаяния.

Желания Тимофея в этой сценке с Николаем Угодником не взлетают до понимания истинных причин своей тоски. Ясно, что, если б и пожаловал ему Угодник «второй сеанс», и в этой новой жизни всё бы у Тимофея пошло по тем же рельсам, всё то же, что и на «сеансе первом». Ходит Тимофей в прокурорах, берёт взятки; жена, хоть и «с сахарными зубами», а счастья нет, и он похаживает к другой. Не было бы разве битья окон: всё же прокурор. Да и то – как сказать...

Но вот происходит превращение «Угодника» в тестя. Чудесным образом совершило это превращение желание Тимофея «законопатить» тестя за язычину его, и вот он обернулся – а перед ним тесть!.. «Вот тебе, а не другую жись! Вот тебе билетик на второй сеанс!» Всё выглядело бы поспешным, и наивным, и смешным – но читатель готов принять и это: боль ведь у человека. Другой писатель, не Шукшин, тут бы и окончил рассказ.

У Шукшина же ради другого, наибольшего написан рассказ – а они в самом конце, последние слова-то и скрывают этот кураж, притворство. Вот эти последние слова: «Прости великодушно...» И тотчас ясно, что за Угодника он тестя и не принимал, и что всё это было то же: придурь, шутка от боли, притворство – от сомнений и угрызений совести. Вот где подлинная исповедь: «В том-то и дело, что не знаю. Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б всё честно сказал, только не знаю, что такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку... Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно». Лишь здесь безысходность закончена и заменена истиной: «Прости» (так же «ваньку валял» и Егор Прокудин в его, Шукшина, «Калине красной»).

В один ряд с рассмотренными тремя шукшинскими рассказами можно поставить и другие. В некоторых персонаж с зачина становится в строй «тоскующих», «мучимых» совестью и терзаниями собственной души.

«По воскресениям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал её, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжёлым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.

– Опять!.. Навалилась.

– О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?»

Кажется иногда, что помимо воли самого автора вметаются в кощунство его персонажи. И всё от одного и того же – от поиска выхода из обыденки тусклого и мертвящего существования.

Автор, как в цирке, возводит такую неприступную стену – тяжело смотреть, потом на глазах у зрителей не перепрыгивает эту стену, как ожидали, не перелетает её на крыльях, а перелезает под смех и рукоплескания довольной публики. Тут и персонаж, и автор – актёры.

Присутствие автора ощущается во всех рассказах Шукшина. Дистанция «автор – герой» порой совершенно стёрта, неприметна. Местами автор спешит: пишет и пишет, словно слыша биение собственного

сердца, которое с каждым ударом отмеряет ему время жизни. И от этой спешки (по прозе его) создаётся впечатление, что и в жизни автор равен герою: всё то же – неустроенность быта, рытьё котлованов, поиски радости, поздняя семья и большая душа... Потому что-то, отчего так она «свербит», отчего так «наваливается», эта самая тоска (чего никак не понимают ни жена, ни теща, ни друзья) – нам, пожалуй, никто так и не объяснил, не смог объяснить – ни до Шукшина, ни после его ухода.

Оттого так трогают его произведения, что они выстраданы. С ним самим – даже и не с автором, а с человеком – случилось то же, что и с его героями: тяжёлые годы учёбы, медные деньги, метания между писательством (по ночам, на кухне, с пепельницей, полной окурков, и крепким кофе) и – семьёй; между литературой – и актёрством, режиссурой с долгими отлучками... Высокие требования к себе, поспешное самообразование (на недостаток времени для образования более предметного, системного он так часто сетовал!..), первый успех – и вновь непонимание. Всё это сожгло жизнь замечательного, оригинального писателя, убило его на взлёте, в самом начале успеха. И тогда кинулись писать о нём: и Александр Чаковский, и не известный никому тогда молодой Владимир Коробов. Но более всего – за его русскость, за черты, дорогие нам в С. Есенине, А. Пушкине, Ф. Тютчеве – мстили ему. И особенно «сладостно» и безнаказанно – после его гибели. Некто Фридрих Горенштейн в статейке «Алтайский воспитанник московской интеллигенции (Вместо некролога)» написал, что называется, «срезал»: «Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея (курсив мой. – В.К.) – только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, и – сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожому, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массового явления, необычному юдофобству. От своих же приёмных отцов он обучился извращённому эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему не знакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна...»

За что же такая мстительность? И почему сегодня никто не напишет о Шукшине «толстую книгу» на премию за многие миллионы, этакий «гроссбух», «большую книгу», на общеизвестную премию? Или в библиотеку «ЖЗЛ»? Или заказа нет? А почему его, собственно, нет? Не из-за того ли, что точно известно, что именно, без предположения, сегодня Василий Макарович Шукшин сказал бы и написал бы о нашем, нынешнем времени (сахаровских «центрах», о «болотных» улицах и площадях, о гнусных треках, отрежиссированных в Храме Христа Спасителя для «Pussy Riot» – название, которое и произнести, и на русский-то язык перевести и прочесть – немыслимо, дико!..); написал бы о совести, о

душе, о «владельцах заводов, дворцов, пароходов»? И известно, на чьей он был бы сегодня стороне со своей всеотзывчивостью подлинно русской души.

Не простят Шукшину и того, что он предпочитал говорить со своим народом на равных (дистанция «читатель – художник» у него тоже, повторяю, равная): «Художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных» (статья «Нравственность есть правда»). И ещё: «Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман – места мало, времени мало, читают на ходу» («Как я понимаю рассказ»).

В.М. Шукшин прожил недолго, сама его жизнь была коротка и вся на виду, как и его рассказы – любимый им, признанный им как «неисчерпаемый» жанр.

В ошибки Шукшину можно вменить лишь внешнее: разброс деталей, нанизывание необязательных сцен, «подмигивание» читателям, а главное – пренебрежительное отношение к форме. «Форма?.. – пишет он в книге «Нравственность есть правда», – форма она и есть форма: можно отлить золотую штуку, а можно в ней остудить холодец. Не в форме дело». По Шукшину, главное в ином: «нравственность – есть правда!»

Кто сегодня скажет, что стремление к нравственности – и есть задача задач? Вспомним, совсем недавно в России стеснялись признаться вслух: «Я – патриот», многим стыдно было – так слово это оплевали, осмеяли, унизили. Пытались унижить – таков был заказ, в такое вот поставили положение. А Шукшин не утратился бы признать, заявить, утвердить себя патриотом, в этом нет ни малейших сомнений. И этой родовой, кровной бесстрашной черты ему не простил, не мог простить исходящий глумливой злобой – всё тот же вышеназванный русскоязычный зоил – не простил русскому того, что он – русский.

«Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным. Также и в искусстве, и в литературе: сознаёшь свою долю честно – будет толк» (Василий Шукшин).

И сам я, когда «накатывает» тоска, когда тревожит что-то душу, не пристаиваюсь к толпе таких же грешных, как и я, «козлиц и овец», не иду к Абаю – казахскому пииту, которого удостоили памятника не где-нибудь, а в самой Белокаменной даже, на Чистопрудном. А иду в храм Божий. Или, если не складывается – беру с полки Шукшина Василия Макаровича. Беру и перечитываю...

*Василий Васильевич КИЛЯКОВ, писатель  
г. Электросталь Московской области*

